Посвящается Боре

ОХОТНИК

Он взбежал по ступеням, толкнул ресторанный дверь, вошел и замешкался на пороге, давая глазам привыкнуть.

Снаружи все выжигал ослепительный полдень; здесь, внутри, высокий стеклянный купол просеивал мягкий свет в центр зала, на маленькую эстраду, где сливочно бликовал кабинетный рояль: белый лебедь над стайей льняных скатертей.

И сразу в глубине зала призывным ковшом поднялась широкая ладонь, на миг отразилась в зеркале и опустилась, скользнув по темени, будто проверяя, на месте ли бугристая плешь.

Кто из обаятельных экранных злодеев так же гладил себя по лысине, еще и прихлопывая, чтоб не улетела? А, да: русский актер — гестаповец в культовом сериале советских времен.

Молодой человек пробирался к столику, пряча ухмылку при виде знакомого жеста. Добравшись, обстоятельно расцеловал в обе щеки привставшего навстречу пожилого господина, с которым назначил здесь встречу. Не виделись года полтора, но Калдман тот же: голова на мощные плечи посажена с «устремлением на

8 противника», в вечной готовности к схватке. Так бык вылетает на арену, тараня воздух лбом.

И легендарная плешь на месте, думал молодой человек, с усмешкой подмечая, как по-хозяйски основательно опускается на диван грузный человек в тесноватом для него и слишком светлом, в водевильную полосочку, costume. На месте твоя плешь, не заросла сорняком, нежно аукается с янтарным светом лампы... Что ж, будем аукаться в рифму.

Собственный купол молодой человек полировал до отлива китайского шелка, не столько по давним обстоятельствам биографии, сколько по сценической необходимости: поневоле башку-то обнулишь — отдирать парик от висков после каждого спектакля!

Их укромный закуток, отделенный от зала мраморной колонной, просил толики электричества даже сейчас, когда снаружи все залито полуденным солнцем. Ресторан считался изысканным: неожиданное сочетание кремовых стен с колоннами редкого гранатового мрамора. Приглушенный свет ламп в стиле Тиффани облагораживал слишком помпезную обстановку: позолоту на белых изголовьях и подлокотниках диванов и кресел, пурпурно-золотое мерцание занавесей из венецианской ткани.

— Ты уже заказал что-нибудь? — спросил молодой человек, присаживаясь так, будто в следующую минуту мог вскочить и умчаться: пружинистая легкость жокея в весе пера, увертливость матадора.

Пожилой господин не приходился ему ни отцом, ни дядей, ни еще каким-либо родственником, и странное для столь явной разницы в возрасте «ты» объяснялось лишь привычкой, лишь отсутствием в их общем языке местоимения «вы».

Впрочем, они сразу перешли на английский.

— По-моему, у них серьезная нехватка персонала, — заметил Калдман. — Я минут пять уже пытаюсь поймать хотя бы одного австрийского таракана.

Его молодой друг расхохотался: снующие по залу официанты в бордовых жилетах и длинных фартуках от бедер до щиколоток и впрямь чем-то напоминали прыскающих в разные стороны тараканов. Но больше всего его рассмешил серьезный и даже озабоченный тон, каким это было сказано.

«Насколько же он меняется за границей!» — думал молодой человек. Полюбуйтесь на это воплощение респектабельности, на добродушное лицо с мясистым носом в сизых прожилках, на осторожные движения давнего сердечника, на бархатные «европейские» нотки в обычно отрывистом голосе. А этот мечтательный взлет клочковатой брови, когда он намерен изобразить удивление, восторг или «поведать нечто задушевное». А эта гранитная лысина в трогательном ореоле пушка цвета старого хозяйственного мыла. И наконец, щегольской шелковый платочек на шее — неременная дань Вене, *его Вене*, в которой он имел неосторожность появиться на свет в столь неудобном 1938 году.

Да, за границей он становится совсем иным: этакий чиновник среднего звена какого-нибудь уютного министерства (культуры или туризма) на семейном отдыхе в Европе.

Разве что левый пристальный глаз пребывает в вечной слежке за шустрым, слегка убегающим правым.

На деле должность Натана Калдмана была не столь уютной: он возглавлял одно из ключевых направлений в государственном комитете по борьбе с террором — структуре закулисной, малоизвестной и обществен-

10 ности и журналистам (как ни трудно вообразить это в наш век принародно полоскаемого белья), — в структуре, координирующей деятельность всех разведывательных служб Израиля.

«Работенка утомительная, — говаривал Калдман в кругу семьи. — Чем я занят? Меняю загаженные подгузники. И хлопотно, и воняет, ибо все подгузники загажены, и все задницы просят порки, и никакого понимания со стороны *этих законодательных болванов...*»

Впрочем, напрямую он подчинялся одному лишь премьер-министру. Уже лет десять жаловался на сердце и поговаривал о своей мечте — уйти на покой.

Но знаменитый его жест — гуляющая по бульжно-му черепу медвежья лапа — жест, наверняка отмеченный в картотеках многих серьезных спецслужб, был совершенно тем же, что и много лет назад (облысел он совсем молодым, еще в эпоху легендарной охоты Моссада за верхушкой и европейскими связными «Черного сентября»).

— Что у тебя за блажь — тащить людей в это заведение? — пробурчал Калдман. — Центр города, проходной двор...

Не сговариваясь, они расположились по привычке, ставшей инстинктом: Калдман — лицом к входной двери, его молодой друг — по левую руку, чтобы сквозь надраенные до бесплотности стекла входных дверей видеть, что происходит на улице за углом, — максимальный сектор обзора. Встреча подразумевалась дружеской, никаких дел, упаси боже; что, мало у нас приятных тем для разговора? Во всяком случае, именно так вчера прозвучала фраза Калдмана по телефону. Подразумевалось, что в Вене они оказались в одно и то же время совершенно случайно, как уже бывало и

раньше. Подразумевалось, что Вена — хороший город. Спокойный хороший город, а английский язык, на котором они говорили, естественно и ненавязчиво вплетен в туристическое многоголосье.

Снаружи парило, и беспорядочная, разноязыкая, штиблетно-маечная, рюкзачно-кроссовочная толпа на небольшой площади томилаьсь на тихом огне.

На той же площади, в тени под красно-белым полосатым тентом, за столиком недорогого бара-закусочной сидел с развернутым номером свежей «Guardian» крупный мужчина ирландской масти, со слуховым аппаратом в рыжем ухе. То, что казалось излишком веса, являлось наработанным каучуком узловатых мышц. Слуховой аппарат был миниатюрным передатчиком — так, на всякий случай.

Никто бы не сказал, что он слишком часто посматривает на двери известного ресторана, куда его невозмутимый взгляд благополучно проводил сначала Калдмана, а потом и другого, молодого. Но Реувену Альбацу и не требовалось рыскать глазами по сторонам: «Дуби¹ Рувка» знаменит был тем, что видел не только затылком, но любой, казалось бы, частью неуклюжего с виду тела, нюх имел собачий, а опасность чуял так, как парфюмер чует в шарфике, случайно найденном за диваном, остатний запах духов прошлогодней любовницы.

И, разумеется, никакого отношения ни к нему, ни к тем двоим, что сидели в глубине ресторанного зала, не имела пантомима двух бронзовых атлетов, застывших у въезда в подземную парковку задолго до того, как двое мужчин засели в ресторане.

Бронзовые атлеты вообще проходили по другому ведомству и на площадь являлись вот уже две недели

1 Медвежонок (*ивр.*) — здесь и далее прим. автора.

12 в рамках подготовки некой операции, которую никто, упаси боже, не собирался доводить до логического конца в этом чудесном городе.

Ничего не торчало в их бронзовых ушах. Просто на шее у каждого пузырилось пышное жабо, где в складках можно было спрятать не только миниатюрный передатчик, но, если понадобится, и «глок» — так, на всякий случай.

В последние годы на улицах европейских городов встречается множество подобных живых скульптур.

— И если они такие шикарные, что имеют аж белый рояль, то почему бы им не потратиться на кондиционер в эпоху изменения климата? — поинтересовался Натан, промокая салфеткой борозды морщин на лбу. — В каждой паршивой забегаловке на рынке Маханэ Иегуда можно дышать.

— Зато здесь тихо, — заметил его молодой друг. — Тихо и культурно, особенно днем. А на *Махан-юда* от воплей торгашей можно рехнуться. На твоем месте я просто снял бы пиджак, — добавил он. — Если, конечно, у тебя там не две пушки под мышками.

Он поймал из рук пролетавшего официанта карты меню, одну сдал Калдману, как партитуру оркестранту, и уткнулся в свою, хотя уже знал, что закажет: ффель на гриле.

Если б не модная трехдневная щетина, аскетичными тенями отчеркнувшая худобу смуглого лица, его можно было бы принять за подростка, обритого наголо перед поездкой в летний лагерь. И, судя по всему, ему совсем не мешала эта явная *легковесность* — наоборот, он подчеркивал ее, двигаясь со скупой грацией человека, немало часов уделившего когда-то изучению приемов «крав мага́», разновидности жесткого ближ-

него боя, которая не оставляет противнику ни малейшего шанса.

«Ты бьешь один раз, — говорил его инструктор Сёмка Бен-Йорам. — Бьешь, чтобы убить. Никаких “вывести из игры”, “отключить”, прочие слюни. Если целишь в голову, то уж в висок. Если в глаз — ты его выбиваешь».

Смешное имя — Сёмка Бен-Йорам, придуманное, конечно; бродяга, дзюдоист, обладатель десятого дана, каких на свете считанные единицы; сидя за столом, он поднимал ногу выше головы, и это выглядело фокусом. Кажется, ныне преподает на сценарных курсах в Тель-Авивской театральной школе, аминь.

И каждый раз надеешься, что все это осталось в прошлом.

Молодой человек отложил меню и оглядел полукруглый зал с рядом высоких арочных окон, с хороводом зеркально умноженных колонн, за каждой из которых можно исчезнуть, просто откинувшись к спинке кресла.

— Во-первых, — проговорил молодой человек с неторопливым удовольствием, — здесь бывал вождь русской революции Троцкий. Во-вторых, лет сто назад одна из моих любимых прабабок играла тут на фортепиано вальсы Штрауса и пьесы Крейслера. Я ведь рассказывал тебе, что у меня были одновременно две разные — абсолютно разные — любимые прабабки? Когда я здесь бываю, а я часто мотаюсь в Вену, меня тянет в это австро-венгерское гнездышко, как лося на водопой.

— Вообразить прабабку за белым роялем?

— Это был не рояль... — Он задумчиво улыбнулся, продолжая изучать карту вин. — Не рояль, а такое,

14 знаешь, раздолбанное фортепиано с бронзовыми канделябрами, мечта антикара. И тапер — заезженная кляча. Представь на месте этого зала внутренний дворик с галереей, вот эту стеклянную купольную крышу, и на крахмальных скатертях — красно-желтые ромбы от оконных витражей... И канун Первой мировой, и прабабке — четырнадцать, и если б ты видел ее фотографию тех лет, ты бы непременно влюбился. Это был счастливейший день ее жизни, преддверие судьбы — она часто его вспоминала. Затем век миновал, все здесь перестроили, витражи куда-то подевались, стены залепили зеркалами, как в восточной лавке... — Он поднял глаза на собеседника: — Кстати, ты знаешь, для чего в восточных лавках вешают зеркала?

— Ну-ну, — бросил тот с насмешливым любопытством, стараясь не смотреть на левое запястье: в его распоряжении сегодня времени достаточно; вполне достаточно и для *болтовни*, и для дела. — Давай, про свети меня, умник.

— Чтобы кенарь не чувствовал себя одиноким. Чтобы он пел любовные песни собственному отражению.

Калдман разглядывал молодого человека едва ли не с родственной гордостью. Вот ведь *этому* никогда не нужны часы на руке. Как это называется: встроенное время? Чувство времени, тикающее в организме, даже во сне. Он и на встречу явился минута в минуту. С годами можно, конечно, в себе вышколить, но ведь у *этого* оно врожденное. Одно из его врожденных чудес, черт бы побрал его рыжую мамашу!

Ему идет дорогая одежда, думал Калдман, и он научился ее носить, он всему быстро учится. Все в тон, благородный песочный оттенок, никакого модного

китча, вроде набивных пальм на сорочке, никаких золотых опознавательных штампов. Все прекрасно подобрано вплоть до светло-коричневых мокасин из тонкой кожи, вплоть до тонких носков в цвет костюму — *незаметность* превыше всего, хотя, к сожалению, именно *он* слишком заметен сам по себе. И с каких это пор рукава пиджака из тонкого льна мужики стали поддерживать до локтей, точно парикмахер перед мытьем головы клиенту?

Да: из своей рожицы арабчонка, какие толпами бегают по мусорным пустырям Рамаллы или Хеврона, он выпестовал, вылепил неповторимого себя: экстравагантного, нарочито утонченного — один этот бритый череп египетского жреца чего стоит! А ухоженные, как у женщины, руки, непринужденно-рассеянно держащие карту вин! Поглядишь — так ничего, кроме нотных партий или джезвы с кофе им не приходилось переносить с места на место... Гедаля уговаривает меня «отказаться от этого неуправляемого молодчика с авемарией в зубах». Гедаля не прав. Ценность *авемарии* в том, что она подлинна, как подлинный бриллиант. Ведь самое драгоценное в любой легенде — отсутствие таковой, ее полное растворение в реальной жизни. Да, он сумасброден и непредсказуем, любит неоправданный риск (то, что он выкинул в Праге, вообще не поддается ни инструкциям, ни осмыслению: выбрав наблюдательным пунктом ювелирную лавку, изображал перед продавцами чокнутую старушенцию да еще выторговал браслетик и даже, кажется, напоследок спел им арию Керубино — то есть сделал все, чтобы остаться в памяти навеки: солист! бурные аплодисменты!).

Да, несмотря на небольшой рост, его отовсюду видно за полмили, а не только из четвертого ряда партера. Его страсть к преображениям и перевоплощениям (что ж, и у той — сценические истоки), как и сам

16 его голос, наводит любого знакомого и незнакомого на неверные мысли о его сексуальных предпочтениях. Но и это неплохо: это опрокидывает все стереотипы о наших методах работы и, в конце концов, уводит от подозрений: ну кто с ним станет связываться, с таким заметным?.. И главное: как я был прав много лет назад, убедив Гедалью, что нашему «Кенарю руси» просто необходимо поучиться и пожить в России. А теперь — разве не чудесна строчка в его досье: «Выпускник Московской консерватории по классу вокала»? Разве не открывает его экзотический голос двери любых посольств, штаб-квартир, закрытых клубов и неприметных вилл, где происходят встречи, судьбоносные для целых регионов?

Да: дорогая одежда ему идет гораздо больше, чем грязная форма солдата спецназа после особо тяжелого задания, больше, чем затертые джинсы и потная футболка строительного рабочего в Хевроне, где однажды он *арабом* прожил три месяца в каменном бараке, ни разу не посетовав на суровые условия жизни.

Вообще, приятно видеть мальчика в зените благополучия.

Стоит ли его тревожить — в который раз?

Наконец явился молодой долговязый официант, с готовностью выхватил из кармашка фартука блокнот с карандашом...

...и Калдман не без удовольствия перешел на немецкий, домашний свой, родной — от матери и бабушки — язык.

— Пожалуй, мы оба склоняемся к форели... Свежую форель трудно испортить, не так ли? Но прежде всего: что посоветует *Herr Ober* из вин — *Riesling* или *Grüner Veltliner*?

Его безукоризненное произношение ласкало слух: «s», звучащее как «з» в нормативном немецком, он произносил, как летящее «эс», подобно венским снобам, неуловимо растягивая следующую гласную: «саа-ген» вместо канонического «заген»¹. Это придавало гортанно бухающему немецкому вкрадчивое изящество.

— К форели я бы взял *вайс гешпритц*, — учтиво заметил официант. — Это наше домашнее белое, днем неплохо идет.

— Да-да, — поспешил вставить молодой человек. — Что-нибудь нетяжелое. Мне еще сегодня на прием...

Два-три мгновения Натан смотрел в спину официанту, огибавшему столики винтовым танцевальным пробегом. Наконец, отпустив эту извиняющуюся спину кружить по залу, повернулся к собеседнику:

— Вчера вечером нежданно-негаданно получил от тебя привет. Включил в номере «FM Classic» и попал на «Серенаду» Шуберта. И вроде, слышу, контратенор, да голос такой знакомый! Не может быть, думаю, с каких это пор ваш брат поет романтиков? Но уж когда ты *сфиллировал портаменто* с до-диеза на фа, у меня все сомнения отпали: кроме тебя, некому. Bravo, Леон! Должен признаться, испытал высочайшее наслаждение.

— После «Серенады» шла «Баркарола»? — вскользь поинтересовался тот.

— Да-да. И тоже великолепно!

Леон удовлетворенно улыбнулся:

— Благодарю, ты мне льстишь.

Итак, Грюндль, старая сволочь! И двух недель не прошло, как вышел диск, а он (владелец студии и бле-

1 Говорить (нем.).

18 стящий тонмейстер, чего не отнять) уже успел толкнуть запись на радио, авось не поймают! Ну да, «венская кровь» — чай, не немцы какие. Чего только не намешано в аборигенах «Голубого Дуная»: и легкомысленности французов, и очаровательной жуликоватости итальянцев («Поздоровался с румыном — пересчитай пальцы!» — фольклор-то одесский, а вот формула универсальна для всех гордых потомков Юлия Цезаря). Впрочем, в легкомысленности австрияков есть свои плюсы. К примеру, немец, пойманный на воровстве (что редко, но случается), упрется, как на допросе, и сколько его ни дави, не признается. А игривый Грюндль, дитя веселого Ринга, ежели его прижать хорошенько, вполне может и заплатить, лишь бы отстали. Ну и отлично, напустим на него Филиппа; в конце концов, это его агентский крест — давить прыщи на физиономиях жуликоватых продюсеров.

— Ты мне льстишь, Натан, — повторил он. — Я еще загоржусь.

«Загордиться» от комплимента Натана Калдмана было немудрено: подобные знатоки классической музыки даже в среде профессионалов встречались нечасто.

— Какая там лесть... Скажу тебе откровенно: я прослезился, как старый осел, столько чувства было в твоём полуночном пении. И когда понял, что это именно ты звучишь... очарованным небесным странником, далеким от подлой грязи этого мира... — Натан включил все «европейские регистры» своего голоса; клочок левой брови завис над косящим глазом. — Словом, я принял это как личный подарок. Ты, конечно, не мог знать, что я слышу тебя, лежа на гостиничной койке с геморроидальной свечой в заднице. В это время ты, скорей всего, благополучно дрых, или пил коктейль на очередном светском рауте, или убажрал очередную

телку, а? — Он вздохнул и прибавил совершенно по-детски: — Если б ты знал, как я люблю Шуберта.

— Кто ж его не любит, — покладисто отозвался Леон, то ли еще не учуяв подвоха, то ли просто не показав своей настороженности. Хотя насторожиться стоило: если старик затеял душевный разговор *о наших музыкальных баранах*, жди огро-омного сюрприза.

— Не скажи! — подхватил тот. — Велльпахер не последний в вашем деле человек, а в каком-то интервью признался, что Шуберту-Шуману предпочитает позднюю романтику: песни Брамса, Вольфа или Рихарда Штрауса.

— Так он же тенор, причем ближе к «ди форца». Контратенор в песнях Штрауса — злобная пародия... Ты бы все-таки снял пиджак? — заботливо повторил Леон. — Пока тебя удар не хватил. Похоже, он тесноват.

— Точно, я слегка поправился. И Магда отговаривала брать этот костюм. Но ты же знаешь мою слабость к почтенной благопристойности.

— Сними, сними. Наплюй на благопристойность.

— Кстати, все собирался спросить... — Калдман с облегчением выпрастывался из рукавов пиджака. — Нет ли у тебя в планах спеть «Der Hirt auf dem Felsen»?

— Что-о? Не смеди меня. Господи, и придет же человеку в голову...

— Но почему нет! Музыка обворожительная, репертуар сопрано для тебя — как родной... — Натан бросил пиджак рядом на диван и лукаво вскинул косматые брови.

...а венчик седого пуха над лысиной — что нимб у святого, особенно на просвет, в янтарном ореоле от настольной лампы: такая пародия на боженьку, нашего кроткого боженьку, самолично отрывавшего яйца неудачникам, перехваченным по пути на дело...